

13 сентября исполнилось 100 лет со дня открытия Московской ордена Ленина консерватории имени П. И. Чайковского. Она была основана выдающимся русским пианистом Николаем Григорьевичем Рубинштейном (1835—1881 гг.). До последних дней жизни Николай Рубинштейн был директором консерватории, ведущим профессором по фортепианной игре, руководителем постепенно создаваемого им оркестрового и хорового классов, дирижером и солистом симфонических и камерных концертов. П. И. Чайковский ставил Н. Г. Рубинштейна выше всех современных ему пианистов и посвятил ему фортепианное трио «Памяти великого артиста».

О пребывании Николая Рубинштейна в калужских местах, о его встрече с Л. Н. Толстым рассказывает наш очерк — результат биографических и библиографических исследований.

ЕСТЬ ТАКОЕ слово «меценат». Произошло оно от имени римского политического деятеля, жившего на скрещении двух эр, а означает покровительство науке и искусству.

Те, кого в России называли меценатами, делали это покровительством, желая прославить себя, а может быть, угадывая в тех, кому они покровительствовали, новых вергилиев и гомеров.

Как бы то ни было, меценаты делали благородное, забываемое дело. Жили такие меценаты и в козельских местах. Один — Николай Кашкин — в Нижних Прысках, другой — Дмитрий Оболенский — в Березичах. Оба села на одной реке, на Жиздре. И как волны ее непременно достигались от Березичей до Прысок, так и слухи о том, что сделал Оболенский для искусства, доплывали до Кашкина, а тот, стараясь превзойти соседа, открывал библиотеку, приглашая русских писателей, художников и музыкантов проводить летние каникулы в его благодатных местах.

— Как? Николай Кашкин меня обехать хочет даже без воронки? Не выйдет, — говорил седеющий князь Оболенский, и к услугам культурных гостей построил новый дворец с прекрасным парком и чудесным гостиним залом, приобрел несколько заграничных роялей, создал картинную галерею и завел, правда, меньшую, чем в Прысках, но зато с новыми книгами в раззолоченных шкафах библиотеку, с трудом размещенную в четырех больших комнатах.

Дмитрия Александровича Оболенского хорошо знал Лев Николаевич Толстой, знал как стряпчего, потом как правоведа и, наконец, как гостеприимного хозяина березичского дворца. В своих «Воспоминаниях» Толстой говорит о нем, как о человеке очень светском, честолюбивом, человеке с тактом и внешним добродушием. Только ли внешним? Перечитаешь рассказ Оболенского о встречах с братом Толстого, вслушаешься в слова Толстого о беседах с Дмитрием Александровичем и чувствуешь: князь обладал и внутренним добродушием. был хлебосол, почитатель муз и любитель сдружить, свести, спаять хороших людей для хорошего дела.

Быстро сблизился Оболенский с братьями Рубинштейнами и предложил им свое березичское имение для отдыха и вдохновения. Николай Григорьевич принял предложение, приехал в Березичи раз, другой, да и зачастил почти в каждое лето.

БЕРЕЗИЧИ ОЧЕНЬ красивое село. Длинной лентой вытянулась одна-единственная улица вдоль зеленого взгорья у берегов Жиздры. За рекой пестрел большой березовый лес, а у самого села река разветвлялась рукавами-старичами, и были те старичьи полны рыбой, а те, что поближе к лесу, изобиловали и пернатой дичью.

Николай Григорьевич не охотился, но часто выходил на лесную опушку и, стоя у склона к Жиздре, молча слушал удивительные трели иволги, чижа и соловья. А когда шел из лесу через луга, его останавливали и заставляли всматриваться ввысь серебряные колокольцы жаворонка. Может быть, не один музыкальный этюд был рожден здесь, в неповторимой тиши, в общении с природой.

Николай Рубинштейн непрерывно творил. Но 25 июля 1877 года творческие мысли были отодвинуты предвкушением удивительной встречи. В Березичи ехал Толстой. Еще с утра умчал князь в Оптинский монастырь встречать Льва Николаевича, а Николай Григорьевич до полудня шагал вдоль старого кладбища с полинялыми крестами, просвечиваящими сквозь негустую заросль жимолости. Грустные мысли витали в голове человека, возраст которого только что зашел за сорок, а лицо уже бороздили морщины — признак долгих и больших переживаний. Болезнь подкрадывалась к Николаю Григорьевичу, но хуже болезни были вести о том, что любимому детищу, его консерватории, не дают нужных средств и она не может осуществить большие рубинштейновские планы. Правда, есть друзья, есть чудесный Чайковский, который пишет и пишет для Рубинштейна, и исполнять творения Петра Ильича — сущее удовольствие. Но ведь это только отдушнина в сердце, а сердце, когда-то могучее и искрометное, стало работать с перебоями, и кто знает, среди каких простеньких крестов будет его могила.

А все его руководство оркестрами, хоровыми классами, все симфонические и камерные концерты долго ли будут предметом удовольствия пресыщенных? А если бы творить для народа, если бы его музыку понял народ, жизнь, может, и не была бы бессмысленной.

НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ прервал колокольчик. Две открытые кареты мчались по дороге. Вот его заметили, кони замедлили ход, и из первой кареты выпрыгнул коренастый, большелобый, с красивым русским зачесом и широкой волнистой бордой. Рубинштейн узнал его сразу — Толстой. Хрупкие тонкие пальцы задрожали от могочего пожатия, но улыбка Толстого была мягкой и виноватой. Видно, хоть поздновато, но вспомнил, что такие пальцы даже друзьям стискивать не

полагается. Разговор развернулся быстро, и через каких-нибудь полчаса Николай Григорьевич и Лев Николаевич чувствовали, что не могут оторваться друг от друга.

— Вы, кажется, впервые в этих местах? — спросил Рубинштейн.

— Если брать округу козельскую, то в ней я второй раз. Но первый — не в счет. Это ведь не прогулка была, а похороны тетушки. Тогда, кроме Оптинского монастыря, я нигде не был.

— А теперь вы тоже, кажется, в Оптине были?

— Да, там... Только что от обедни. Так сказать, освященный и оставшийся с неразрешенной тайной.

— А в чем же ваша тайна, если не секрет?

— Когда-то в детстве мы играли в муравейное братство. И тогда я поверил, что есть зеленая палочка, на которой написано, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо. В палочку-то я теперь не верю, но знаю, что есть истина, которая должна осчастливить людей. Вот я и ищу истину. Только прямо говорю, что ни в церквях, ни в монастырях этой истины нет. Вы, наверно, читали мою «Анну Каренину». Там я пробую выяснить, откуда эта истина. И скорее всего она в самом людском труде, в старании трудового народа скрыта эта истина.

— Я тоже, представьте себе, думаю о добре для людей. Только мое добро идет через искусство. Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но вот уже 11 лет работает консерватория, и много хороших талантов я открыл через нее. Она понесла музыку в народ, и это, по-моему, серьезное начало. Только мне хотелось больше: чтобы не 150 человек училось музыке, а чтобы и консерваторий было не меньше тысячи, а по всей стране широкая сеть музыкальных школ и училищ, концертных залов и народных музыкальных клубов. Мечтаю я о тех днях, когда музыка найдется доступ к народному сердцу.

— Будут такие дни, Николай Григорьевич, будут... И вам люди спасибо скажут за то, что вы хорошие дела открываете, Чайковский вас хвалит. Он ведь в расчете на ваше виртуозное мастерство написал немало фортепианных произведений. Я, правда, не слушал их.

— А вы послушайте, — подхватил

БЕРЕЗИЧСКИЕ ВЕЧЕРА

хозяин дома. — Я же говорил вам, Лев Николаевич, что коль скоро у нас гостит Рубинштейн, значит, мы вас угостим хорошей музыкой. Да вы не стесняйтесь, скромница. — Дмитрий Александрович взял Рубинштейна за руку. — знаете: Лев Николаевич и приехал в Березичи, чтобы послушать вас.

РУБИНШТЕЙН ИГРАЛ почти весь вечер. Толстой слушал, не отрываясь. А как кончилась игра, встал с кресла:

— Милый, дорогой Николай Григорьевич. Никогда, никогда раньше я не знал, что в этот мертвый инструмент можно вложить такую живую душу. Ваша игра — это радуга звуков. Это красота и пезучесть родных лесов и полей. Вы знаете, что я почувствовал в вашей музыке? Неизмеримую силу воздействия. Могушество, поднимающее человека. Величие души. Нет! Это не просто музыка. Это яркие поэтические образы. Это любовь, исторгнутая из глубины жизни. Такая музыка дойдет до народа. Такое исполнение оценит народ.

— Ну, уж вы очень захвалили меня, — отмахивался Рубинштейн, — этак я и возгордился могу.

— Нет, милый профессор, нет, лучший дирижер века, нет, непревзойденный солист. Вы не возгордитесь. У вас натура не позволит возгордиться. Я знаю, как вы к людям относитесь: говорили мне, как на бедного воспитанника свое пальто надели. Но, батенька, делаете вы великое дело. И хорошо, что приезжаете в такие места. Я сегодня ехал сюда полями: пригорок над рекой весь, как в бархате, в мягкой зелени мха, воздух свежий, после дождя зелень разбухла, размокла густо и матово, взор так и отдыхает на неподвижной опушке леса, а ум, наоборот, пищу здесь находит.

— Еще бы. Я здесь не столько сам исполнял, сколько слушал исполнение других. Знаете, как здесь на рассвете поют соловьи, а вечером, особенно в предпраздничный день, девушки распевают — мягко, задумчиво, глубоко... Все бы и слушал, все бы записывал. Много раз я сказал спасибо нашему любезному хозяину Дмитрию Александровичу за то, что открыл мне эти березичские вечера. Только вы-то весь вечер мне посвятили. А сами хоть бы немного почитали. Порадовали бы нас своим новым...

Да, да, Лев Николаевич, порадуйте. Пусть в березичских даях впервые прозвучит какая-нибудь ваша глава.

ХОРОШО, — сказал Толстой и прямо здесь, у рояля, прочитал два отрывка из восьмой части «Анны Карениной». Эту часть еще никто не слышал. Она только что была окончательно сделана писателем. Содержание ее потрясло всех, кто сидел в зале, и Льва Николаевича спросили повторить отрывки еще. Но он очень устал, попросил прощения, и тогда, взяв его за руки, Николай Григорьевич Рубинштейн повторил запорье в память последние слова романа: «Жизнь моя теперь, вся моя жизнь независимо от всего, что моя жизнь случится со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

В. СОРОКИН,
наш нешт. корр.